

м а р и я р я х о в с к а я

для тех,
кто умеет
читать

ЗАПИСКИ

ОДНОЙ

КУРЁХИ

{ РО М А Н }

Для тех, кто умеет читать

Мария Ряховская
Записки одной курёхи

«Центрполиграф»

2013

Ряховская М. Б.

Записки одной курёхи / М. Б. Ряховская — «Центрполиграф», 2013 — (Для тех, кто умеет читать)

Подмосковная деревня Жердяи охвачена горячкой кладоискательства. Полусумасшедшая старуха, внучка знаменитого колдуна, уверяет, что знает место, где зарыт клад Наполеона, – но он заклят. Девочка Маша ищет клад, потом духовного проводника, затем любовь. Собственно, этот исступленный поиск и является подлинным сюжетом романа: от честной попытки найти опору в религии – через суеверия, искусства сектантства и теософии – к языческому поклонению рок-лидерам и освобождению от него. Роман охватывает десятилетие из жизни героини – период с конца брежневского правления до ельцинских времен, – пестрит портретами ведунов и экстрасенсов, колхозников, писателей, рэкетиров, рок-героев и лидеров хиппи, ставших сегодня персонами столичного бомонда. «Ельцин – хиппи, он знает слово альтернатива», – говорит один из «олдовых». В деревне еще больше страстей: здесь не скрывают своих чувств. Убить противника – так хоть из гроба, получить пол-литру – так хоть ценой своих мнимых похорон, занять богатство – так наполеоновских размеров. Вещь соединяет в себе элементы приключенческого романа, мистического триллера, комедии и семейной саги. Отмечена премией журнала «Юность».

© Ряховская М. Б., 2013

© Центрполиграф, 2013

Содержание

ПРОСТОР В НАСЛЕДИЕ	5
ЗАПИСКИ ОДНОЙ КУРЁХИ	7
ПРОЛОГ	7
КРЁСТНАЯ	9
О МЕСТЕ КЛАДА	11
РАССЛЕДОВАНИЕ	15
МОЯ РОДОВА	17
КАК КАЖДАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭПОХА СОВПАДАЛА С ЖЕНИТЬБОЙ ДЕДА НА БАБУШКЕ	19
МОНОЛОГ БАБУШКИ	20
ЛОПАТА КАК ОРУЖИЕ ПРОТИВ НАРУШИТЕЛЕЙ СЕМЕЙНЫХ ГРАНИЦ	21
В НОЧЬ НА ИВАНА КУПАЛУ	23
О ЛЮБВИ	27
ГДЕ ТЫ, МОГУЧАЯ ВЕДЬМА?	30
О, ЭТОТ ЮГ! О, ЭТА НЕГА!	35
ПОЖАР	37
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Мария Ряховская

Записки одной курёхи

ПРОСТОР В НАСЛЕДИЕ

«Курёху» Мария Ряховская придумала, отталкиваясь от «дурёхи». Смысл нового слова обозначила так: «нелепая романтическая девочка-подросток... в вечном поиске». Интонирование этих слов в прозе Ряховской по ходу «вечного поиска» придает термину «курёха» загадочную объемность.

Место действия – деревня Жердяи. Время действия – «мне некогда, я веду за собой поколение». Не проверял, была ли эта реплика в повести, которую в 1993-м второкурсница Литинститута представила на семинар Александра Рекемчука, но в романе такая самоаттестация принципиальна. Повесть опубликовали в «Юности», писательница «проснулась знаменитой», но через двадцать лет после триумфа расширение повести в роман оказалось необходимым потому, что приход «курёх» осознается как приход поколения. Роман Ряховской – из первых серьезных попыток осознать его приход.

Это поколение, которое окончательно отрывается от советской эпохи и ощущает небывалый простор наследования. Советские реалии еще пестрят в памяти, но уже не саднят и не завораживают. Прадеда расстреляли как царского офицера. Сын его (дед героини) был «обижен» за это на органы. Как и за то, что на его забор соседи льют помои, а сельсовет не заступится! Эти обиды уже равнозначны. Красный флаг стал скатертью для проповеднического стола в молитвенном доме, названном «собранием». Отец героини достал для деревенской односельчанки заговоры у знакомого филолога, чтоб «отчитать» больную: за годы советской власти народ привык все делать «по науке». Поистине, не вдруг поймешь, в какой эпохе душа застряла!

Белорусская гостя заламывает руки: «Я была в Белте! В обкоме! Сначала Чернобыль! Потом гибель Цоя! И это социализм?» Приехала в Москву искать правду. Другие идут к Мавзолею. То ли помолиться, то ли помочиться. Возможны опечатки. Вот я и говорю: все возможно. Простор!

Пришло поколение и озирается в поисках. В поисках истины? Нет, деревенского клада! Узнать, где он, и скорей схватить! Присвоить, что плохо лежит. А плохо лежит в отечестве все, что еще не заграбастано, и все это клад. Извечная мечта прожить на халяву! Наше воровство не нарушение закона – образ жизни.

Колотят в дверь. Хозяйка: «Опять напился!.. Господи, – взмолилась ведьма, – что мне делать? Гром его разрази!» Гром его не разразит: гром – деталь народного пейзажа, оваянная своеобразной героикой. Предмет непрестанных шуточек, и не поймешь, что говорится для понта, а что всерьез. Этот притворный базар – общий фон жизни. Все играют роли: простаков, неграмотных. Грамотность – повод для подозрений. Простоватая бабка вернет что-то из Цветаевой – это лучше «не заметить»: а вдруг она «барского роду» или «интеллигентка»? Сквозь притворный треп о том, кто красивей – Рейган или Штирлиц и на кого из них больше похож умирающий дедушка, пробивается дедова фраза, полная старинной душевной силы и достоинства: «Глупо сопротивляться природе. У Маши приданое теперь есть, значит, все в порядке». Ссорятся – ритуально, дерутся – от души. «Некоторое время у парней уходит на то, чтоб придумать повод. Когда он находится, бьют друг друга до крови».

Такой жердяйский образ жизни понят Ряховской не как советский, антисоветский или постсоветский, а как всегдашний, природный. Он даже не городской и не деревенский – он всеобщий. Это становится видно, когда из Жердяев героиня выбирается в столицу. В московской тусовке хиппи и анархисты так же делят пространство и притворяются сумасшедшими:

«Чтобы сказать миру: я не ваш» – да и от армии закосить. Тогда уж просто весь твой! Так же клячат сначала сигарету, потом «хавку» и «вписку». «Русь-то спасти надо, – говорит со сцены Бо, рок-кумир Курёхи. – И никакие казахи нам не нужны!» После этой речи героиня отвергнет его.

Но при чем здесь казахи? А притом, что, помимо жердяйской дури и городского умничанья, это и есть наследство юного автора текста 1993 года и его героини. Деды отца Марии – писателя Бориса Ряховского, от кого унаследовала она свой талант, – строили в Казахстане общую державу. Что еще может иметь генерация, получившая в наследство простор, очищенный от идей и химер?

Лев Аннинский

ЗАПИСКИ ОДНОЙ КУРЁХИ

ПРОЛОГ

«Сидя на вот этом холме, я часто вижу сны здесь, в золотой вышине» – эти слова я услышу в пятнадцать лет, когда моя подруга Саня втолкнет свою кассету в мой «Беларусь-302».

Теперь я знаю, что не было бы Борису веры, что при первых звуках не сманил, не подчинил бы себе, – не явился он со своей группой «Аквой» на кособоком зеленом холме, какой теснит с севера нашу деревню Жердяи. Левее холма поле, пестро-желтое от сурепки, сползает в долину речки Истры, утаскивает деревенские крыши и огороды с кривыми оградами. Мы с Саней доверчиво приближаемся к холму. Солнце греет головы. Бо стоит на вершине, трясет чубом и четками на гитарном грифе, орет, просто задыхается от правоты:

– Мои слова не особенно милы, к тому же я полупьяный, – но я констатирую факт: вы – бараны!

И победоносно смотрит со своей солнечной высоты. Все соглашаются с ним и прыгают по лужайке, упираясь друг в друга крутыми рогами. Остальные музыканты сидят вокруг Бо по-турецки и кивают.

Один Лева Такель, не глядя на него, читает, распростершись на холме.

Но вот он улыбается, запрокидывает голову и убеждает:

– Ты – клен, твое место в лесу, твоя листва в облаках!

И все мы шарим руками в небе, как ветвями. Сплетаемся. Шуршим. Тянемся.

– Лева Такель, – шепчет Саня, – видишь? Он святой. Вегетарианец. Ну, который лежит и читает.

– Забуди свое имя и стань зимой! – возглашает Бо.

– Да, я всегда знала, что я зима!.. – восклицаю я.

Я расслабилась, осела на землю, закружилась снежинками... Последнее слово песни отлетает в шуме. Кричат, визжат, воют.

– Бедный Бо, – Саня стонет, – взгляни на меня, я готова защитить тебя от этих глупых пищух-фанаток! Липучие курёхи!

Я оглядываюсь и вижу: множество мне подобных составляет подножие холма. Толпа ходит волнами, нас с Саней совсем задавили – кто-то продирается к играющим.

Какое-то растрепанное бесполое существо хиппового вида. Гляди, да это же наша жердяйская старуха Крёстная! Она подходит к Борису, отдает ему честь и кричит:

– Либерте, веритас, адельфотис!

Бо, он же Борисов, кивает в ответ и гладит Леву по голове:

– Любящий читать лежа не обидит слабого... Нам пора! Через пятнадцать минут на Васильевском концерт. Мне некогда – я веду за собой поколение!

Холм качнулся, встряхнулся. Бо хозяйским взглядом оглядел его – не залез ли кто лишний?

Холм – это мой подарок Борису. На холме – моя деревня. Я хотела познакомить Борисова с ее обитателями. Но он стряхивает их и улетает один.

За отлетающим в небо холмом тянется стайка пичуг, – их тоже я подарила, – чуть видна свисающая Левина нога...

Над полем холм с «Аквой» сближается с белокаменным дворцом, белеющим в синем небе, словно парусный корабль. Двери настежь, череда комнат, по стенам портреты. Две рамы черные, мореного дуба. Чьи эти смуглые лица, смоляные волосы? В одной комнате портрет Моррисона, в следующей – Цоя. В глубине одной из комнат зеркало, заключенное в лепную

раму. Помедлив, холм подается и облетает дворец. В глади парадного зеркала отражается бок холма с криво вбитым колом, к нему Крёстная обычно привязывает своих козлушек. Сейчас Борисов оперся о него спиной, вокруг бодхисатвы ходит коза. Выходит, коза Крёстной улетела вместе с Бо в Питер? ... Вот уже холм истаял в небе.

Лишилась я и холма, и птичек. Вместе с ним исчез и идеальный образ Борисова – такого любимого еще недавно. Но разве это утраты? Мои утраты далеко впереди... Но все по порядку. Форма, как нас уверяют, есть деспотизм идеи, не дающий материи растекаться. И сейчас я восьмилетняя девочка и все только приобретаю.

КРЁСТНАЯ

Ухватила бидон за деревянную ручку и потащилась за мамой. Исполнение ежедневного урока, хождение за водой к роднику. Следующая передышка возле дома Крёстной, могучей старухи с седыми патлами. Отчего ее так называли – никто не помнил, имени ее никто не знал.

Колдунья по деревенским понятиям, старуха ведала всеми деревенскими преданиями – и главным: о кладе.

Она подошла ко мне, сунула под нос картинку на фанерном обрезке, приказала встать поодаль. Навела на нее подзорную трубу, блестящую бронзовым оком. На картинке – овальный зал, парадное зеркало в раме.

– Тут в угловой и помирал наш французский генерал. Лицо блее сорочки и кружева барабанские. После схоронили за речкой.

Мама отняла у меня картинку, цапнула за руку – ей со мной уверенней – и потащила к колодцу. Раздраженно сказала:

– Ей же семьдесят лет, Маша! Как же она может помнить дворец! Он сгорел в середине XIX века. И какой еще наполеоновский генерал?.. У Крёстной дочь от полковника Советской армии, на постое жил в войну. А притворяется древней старухой и дворянской кровью!..

Я увернулась из маминых рук и побежала обратно к старухе, слушать о кладе. Мама звякнула ведром и пошла к колодцу. Я вошла в Крёстнину вонючую полутемную горницу.

– Еще в семнадцатом году, когда поп хаживал в нашу деревню из Малых Жердяев, сроду на ту могилу не крестился, – рассказывала Крёстная, тряся крупной головой с накрученным на нее тугим седым волосом. – Не нашей веры, не православной, был генерал. Для охраны клада его положили. Как звали? Деголь! Деголь Жозефан Богарне. Клад нынче трудно будет найти, но знай – на том месте огонь гореть должен, клад огоньком просушивается. Ух, клад большущий! Французы, как с Москвы бежали, монастыри и церкви ограбили, богатых обобрали и генерала самого злого закопали, голову отрезали и на поклажу положили, для страха. И сабля при нем, и все его обмундирование – грозен. Все клады в веденье черта находятся. Клагоискатели вступают в переговоры с Самим, дают в залог душу, берут взамен клады.

Как будто бы для пущего моего страха, в горницу зашел черный пучеглазый козел и, тряся бородой, заблеял. Я отпрянула, вскрикнула и наступила на хвост сидевшей позади меня собаки. Она тоненько взвыла.

– Заклятие запирает клад на срок или навечно, – говорила Крёстная, все так же недвижно сидя в своем хозяйском кресле возле печи и даже не шелохнувшись от моего крика.

Впервые видела кресло в деревне!

– С заклитием уж и самому черту ничего сделать нельзя. Оно определяет, которой по счету голове клад достанется, и если двадцатой или сороковой повезет, то нечетные погибнут. Клагоискание дело душеопасное, множество людей пропадало. Клад добудешь, да домой не будешь. Перед Пасхой клады выходят наружу, – расступаются горы и открываются пещеры. Тогда, имея разрыв-траву и цветок папоротника, можно достать любой клад. Говоры: аминь-аминь, рассыпся – и иди смело. Цветок папоротника цветет раз в год – в полночь на Ивана Купалу – и держит цвет не далее, чтоб прочесть Отче наш, Богородице и Верую.

Я дрожала: козел тарасил на меня свое черное бессмысленное око, тряс бородищей. Рассказчица говорила медленно, не замечая ничего вокруг, была сама зачарована своим рассказом.

– На которой траве коса переломится, та и есть разрыв-трава. Но самое трудное добыть на Купалу цветок папоротника. Нечистая сила пугает, страшные видения блазнят. А сорвешь цветок, черт захочет отнять обманом – заглядишься на чудищ, а лжебратия эта цветок-то и подменит... Главное – не сробеть. Сробеешь, и клад, и сам ты пропал. Кроволюбно творит

нечистый такие дела. Если по-божески хочешь, бери клад с молитвой: чур, мой клад, с Богом пополам. И отдай половину в церковь.

Помимо собак, кошек и черного страшного козла, в доме жили три его вечно брюхатых жены, открывавшие двери своими рогами. Зверье беспорядочно шлялось по сумрачному и вонькому дому со щелястыми некрашеными полами. Всем своим домочадцам хозяйка готовила одно и то же кушанье: лила в проржавелый эмалированный тазик мутную баланду с комочками хлеба. Бывает, скажет, что помнит, как «шумел-грел пожар московский» при Наполеоне. Крёстная не знала, вероятно, ни текущего года, ни месяца, в доме у нее не было никаких достижений цивилизации, кроме картонной тарелки-репродуктора.

В деревне старуху считали колдуньей, свое умение она будто унаследовала от деда-чернокнижника Мусюна. Он был конюхом здешнего помещика Зверева, а после выменял у чекистов его книгу по черной магии.

Рассказывали, однажды Мусюн отлучился в город по делам. Дети побежали в кладовку, из выемки в бревнах вытащили «черную книгу». Только раскрыли – отовсюду засвистело. Из лесов, с речки налетели птицы. Дети оказались в кромешной темноте – окна были залеплены колышающейся кричащей массой. Мусюн учуял беду, пригнал – с коня и дух вон. А как вошел в дом, увидел: его домашние стали безумны, продержав птичью осаду целую ночь.

Крёстную побаивались, но любили слушать. В простонародной ее речи нет-нет да и проглядывало невесть откуда взявшееся диковинное словцо. «Лабарданс», «коленкор», или даже «кумир священный». Иногда она пела куплеты:

– Он не красив, но очень симпатиче-ен, в его устах сквозит любви приве-ет... В речах всегда был Поль нигилистиче-ен, дарил мне из орхидей буке-ет.

Слышала я от нее и такие ответы, когда она не хотела со мной говорить, – в стихах:

– Удалитесь к себе и оставьте меня на покое! Здесь святая обитель, Божий здесь монастырь. Розы в клумбах, цветы и левкой не зовут меня в жизненный пир...

Удалитесь, прошу! Тишины я ищу.

Жердьяских Крёстная честила «извозчиками» и «холуями». До революции и в НЭП наши крестьяне и правда зимами подрабатывали извозчиками в Москве и слыли там самыми страшными крохоборами.

О МЕСТЕ КЛАДА

Крёстная говорила «тут за каналом, как поднимешься». Вверх от топкого места, где в черную грязь набросаны ветки и жерди, поднимается тропка. Здесь непременно впереди тебя летит стрекоза и справа хвойный лес, слева луг. Но сосны все реже, крупнее, пошли ямы, а на опушке бугры в человеческий рост, заросшие иван-чаем.

Мы непременно опаздывали к автобусу. Впереди тропа через большое поле, в его дальнем углу автобусная остановка. Родители несли рюкзаки с картошкой-моркошкой, с банками, вспотели, на лицах забота, стрекоза улетела. Уж тут будь у ноги, не отойдешь к буграм.

Но когда ехали из Москвы – тогда на опушке непременно стоянка. Рюкзаки сброшены, мне велят снять сандалии и дальше идти босиком. Я боязливо обходила бугры. Рывины, набросана земля. Рылись кабаны: к тропе подходит картофельное поле.

В каком из бугров французский генерал? В своем золотом мундире, положен поверх ящиков и бочек с богатствами. «Умре, да не истле», – говорила о нем Крёстная. Лежит усатый, со шпагой в руке, красивый, как артист Тихонов.

Должно быть, впервые Крёстная рассказала мне о французском генерале в то дождливое лето, когда мы оставались с бабушкой вдвоем в нашем сумрачном жердяйском доме, зябли, грели руки над тарелками с супом и ждали вечера. Тогда повторяли сериал о Штирлице. Бабушка под шалью прижимала меня большими полными руками, жалобно говорила о своей последней молодости, когда она «в крайний раз» заказала в Доме моделей на Кузнецком Мосту пальто. О своей проигранной женской судьбе, – и тут же в утешение себе, что у Штирлица плечи прямые, как у дедушки.

Штирлиц вскинутой рукой устало приветствовал встречного эсэсовца и уходил по коридору в своей черной безупречной форме. Приталенный мундир, галифе тюльпаном. Одинокий и всем чужой. Как и французский генерал, лежавший среди бугров и рывин с водой.

Я воображала путь к нему по задам наших огородов, где вода стоит в траве и на ходу вжимают голенища резиновых сапожек. После поворот в проулок между Настиным зеленым домиком-теремком и севшей по окна в землю избушкой почтарки Нюры с белой заплатой жести на крыше и оцепенелыми козами под навесом. Дальше издыренная кротами тропа через луг, почтаркины уголья. Топкий берег с накиданными сучьями, потом по лавам над мутной сейчас Истрой, тропа в высокой таволге, набухшей от воды. И опять черная грязь с втоптантыми ветками. Здесь засыпанный Екатерининский канал – царица приказала рыть, чтобы соединить Москву и Петербург, да так и не закончила. Из мешанины грязи и веток поднимается тропа. Она выводит к заросшим буграм и рывинам. Французский генерал лежит в одном из них, – будто в освещенной комнате с потолком-сводом.

Всякий раз я всматривалась в тропу: нет ли кротовых дырок? Если они залезут в его светлую сухую комнату, к нему потечет вода по их ходам.

В те же времена в книжке о Раевском я высмотрела Наполеона в парадной форме – и придела своего генерала. Куда Штирлицу в его черных штанах-тюль панах!.. Французский генерал на моих рисунках носил алый мундир с золотой бахромой на плечах, с витыми шнурами и висюльками. Алмазы блистали в его орденах. Теперь в моих беспорядочных альбомчиках рядом с бесконечными принцессами появился усач в алом мундире и черных высоких сапогах с полукруглым вырезом выше колен. Фломастер с алой начинкой иссяк, мундиры пошли морковные и розовые. Скоро бабушка и мама увидели в тиражировании генерала что-то нездоровое, может быть склонность, которая обернется в будущем необузданной чувственностью, – а мне быть вечной работой мужчин.

Клад просушивается, говорила Крёстная, и в конце концов выходит наружу в сиянье голубом. Только разве у нас просохнет? Лило и хлестало, и беспрестанно хлопало в бочке под

сливом, и сеяло, и сыпало, и бусило, – и опять с утра хлестало. Все лето в резиновых сапогах, в толстой вязаной кофточке. Сквозь стекла веранды чуть виден в дожде блеклый прибрежный лесочек. За ним темным пятном хвойный лес и где-то на его выступе бугры и рытвины с водой. Бабушка опять ругала кротов и тыкала в их норы лопатой, а еще приносила из дома свою «ночную вазу», как она ее называла, и выливала содержимое в кротовьи норы. «Она же зальет и генерала, и клад!» – разволновалась я и отошла за малинник – а потом как бросилась бежать!..

У домишка почтарки тети Нюры – окошки у земли – я остановилась. Хозяйка как раз стояла у калитки, провожала свою сестру Капу. Нюра подозвала меня и удерживала за плечо теплой рукой, сестры договаривали. Они расстались девушками в карельской деревеньке за Калинином, с год как беда заставила Нюру найти сестру и поселиться здесь, в Жердяях.

Мы помахали Капе и вошли в полутемный Нюрин дом. Здесь душновато, сладковатый запах, Нюрина дочка Таня лежит с парализованными ногами, заликает одеколоном пролежни. Я помогала Нюре помыть Тане голову, поливала и подавала. Нюра дала почитать мне «божественную книгу» – толстую и без картинок. На прощание Нюра и Таня, сидевшая с накрученным на голову полотенцем, пропели мне церковный гимн.

– Не заме-едль дверь откры-ить... Оборве-ется твоей жизни ни-ить...

Таня пела тихонько, мытье ее обессилило.

– Крёстная другое говорит: молись святому Николе, – сказала я.

– Святому? – переспросила Нюра. – А у нас святых вроде и нету. У нас молельный дом и Троица: Бог Отец, Бог Сын и Дева Мария. Это, что ли, Троица? Или нету у нас Троицы, а? – Нюра повернулась к Тане, но та уже дремала и не слышала нас.

Когда я уходила, она пробудилась и едва слышным голосом попросила меня нарвать ей ромашек на лугу.

– Пойди к реке, – сказала она, – там самые крупные. По вечерам их река туманом поит, а утром солнце отогревает.

На мой вопрос о кладе, – дескать, рядом с ним живете, бугры те в окно видать, – Нюра горестно ответила:

– На что мне клад?! Клад – все то, чего у нас нет. Если б Таню вылечить...

Цветов я надергала каких попало возле самого Нюрино дома, – некогда мне, мне к месту клада надо!..

– Пой гимны – тогда бояться не будешь, хороший мой, – напутствовала меня Нюра.

Карелкам Капе и Нюре русский язык был чужой, так что мужского и женского родов в речи они не ведали.

Вечерело. В сумерках светилась одна железная заплатка на Нюриной рубероидной крыше. Я шла в мокрой тяжелой таволге, вдыхала ее вечерний аромат. За мостом тропа поднималась к лесу, за которым было Пятницкое шоссе и автобус, который вез нас в город. Я помедлила перед чернеющим лесом и затопала по накиданному в грязи веткам. Отгоняла страх, пока из леса на меня не полезло большое и темное.

– Не заме-едль дверь откры-ить... Оборве-ется твоей жизни ни-ить... – пела я, стуча от страха зубами.

На опушке страшилище распалось, одна часть оказалась коровой, другая жердяйским пастухом Серым, – он был двухголов и многорук. Теленка несет – наконец догадалась я.

– Ко мне, рядом, – выговорил Серый, – забодает, дура!

Я пошла по тропе, висевший на руках Серого теленок тыкал меня в спину острым копытцем. Серый безостановочно ругал корову: в телках была дурочка, в коровах стала дурищей!..

Три дня назад корова отстала от стада, в лесу отелилась, и вот только Серый нашел ее. Я оглянулась: не набегает ли корова в ярости?.. Голова теленка моталась. В оголенной костистой груди Серого хрустело, как в дедовом ламповом приемнике.

– День не курил – загнусь! Сваливаю, черт меня забодай! – божился Серый. – На завод уйду! Пусть сами пасут! С двенадцати лет в пастухах.

На лавах – нашем жердяйском мосту – я осмелела, поглядела на корову. Она встала в таволге и мычала, так что в боках получались ямы. Серый перенес теленка по лавам, уложил на траву и прикрыл своей рубахой. После чего стал двигать руками возле пояса, и я увидела, как в траве у его ног забегало. Он снял с себя хлыст – вот что оказалось. Едва он пробежал лавы, корова рысью двинулась вдоль таволги.

– Куда? Убью! – заорал Серый. Повернулся к моему берегу и поклялся: – Чтоб я сдох! Уйду на завод! Отбегал!

Не мне одной клялся Серый. Над теленком стояли моя бабушка и Капа.

Вечером разбирали мое поведение. Само собой, винили Крёстную.

– С годами верхние слои памяти разрушаются, – говорила мама. – Человек помнит лишь детское. Клад, чертовщина... Французов здесь не бывало, они отступали по Калужской дороге.

Бабушку в Крёстной раздражала властность собственницы – мы в Жердях были новоселы, дом купили за пять лет до моего рождения.

– Клад разве ее? Земля государственная. Как ее дочь вышла замуж, Крёстная взяла из клада десять золотых монет – и пожалуйста, взнос за кооперативную квартиру. И сейчас Крёстная точно потаскивает из клада. У дочери двое детей, мужа нет, – а ходят в кроссовках по сто пятьдесят.

Бабушкины речи вредны для меня: ведь кладов не бывает!.. – и вновь мама говорит о чепухе вроде заклинаний и разрыв-траве. Взглядом требует помощи от папы.

Он не отказывает маме и одновременно не упускает случай оснастить мою память историческими сведениями:

– О, споры о принадлежности кладов – со времен Средневековья. В конце концов было решено: если сокровище обнаружено с помощью доброго духа, то нашедший оставляет клад у себя. Если же находке способствовал нечистый... леший или колдун какой... и произошло такое в обмен на услуги нечистой силы, – то счастливчика в суд, а клад в пользу государства.

Был ли дедушка в согласии с бабушкой? Или же и на пенсии он, бывший начальник СМУ, думал о пользе разумного распределения богатства?

– Двадцать пять процентов нашедшему – и то за глаза, – сказал дедушка. – Нарядчик, бывало, припишет, и завтра надо срезать расценки. Товарищи, надо платить за работу. А мы платили за ля-ля. Вот и проели державу.

Бабушка припомнила, как во времена НЭПа свинья вырыла горшок с монетами. Вынюхала денежки!..

Ах, свинья времен бабушкиного детства!.. Эта свинья в бесконечных разговорах, какие мы вели в дождливые дни июля, к августу выросла в образ кабана с крепкими клыками и нюхом на золото. Причем этот громадный и клыкастый кабан оказался предводителем, главой стада, и столь грозным, что если он велит своему стаду стоять, то пугай криком, угрожай огнем, да какое угрожай: тычь в рыло факелами! – не двинется.

Преобразование чуткой к денежкам свиноушки в жадного до золота и грозного кабана предшествовало нашему бегству в Москву, там – ежедневное ожидание подвижки антициклона и хождение с мамой в универсам. В середине августа дожди ушли, стало тепло, и мы двинулись в Жердяи. Едва ли не последний автобус высадил нас в углу поля, где начиналась жердяйская тропа. Вовсе стемнело, когда мы стали подходить к углу леса. Отец остановился, сбросил рюкзак и произнес:

– Ха, явились, не запылились!..

Помню, что мы с мамой продолжали идти со своими ношами. Позади четыре часа дороги, какие еще разговоры.

Отец обогнал нас и стал на тропе, как бы загораживая:

– Кабаны...

В этом месте поле выгибалось. На подъеме ближе к лесу кабаны и стояли.

– Семь... – прошептала мама. – Огромные.

Случалось, кабаны приходили на гороховое поле за домом Крёстной, мы их с крыльца видели.

Мама пересчитывала зверей, то семь бывало, то восемь. Отец уходил по тропе и пугал кабанов криками, топал и зажигал спички. Возвращался и вроде как спрашивал:

– Но ведь если пасутся, должны ходить.

Восьмой кабан разрывал бугор с кладом, а семеро не давали нам пройти, чтобы мы не помешали их старшему. Такое я сказала родителям.

– Если бы яма с картошкой... – Отец едва меня слушал. У него осталось две спички. – Что кабану металл?

– А генерал? – Я заплакала.

Тогда отец набрал соломы, связал пук и поджег.

С факелом над головой побежал по тропе. Мы видели, как он с клоком огня в руках добежал до ближнего кабана. Постоял там и медленно вернулся к нам. Кабаны оказались тюками сена.

После я рассмотрела. Полукруглый тюк, высотой с меня, стянут железной проволокой. Только тут мы увидели, что поле голое. Новая модель комбайна выстреливала такие тучки.

Отец шел последним, посмеивался над собой, оправдывался:

– У нас на Урале стог сена так и называется – кабан! Это еще что!.. Плыли по Рыбинке на яхте, – ночью было, да шторм еще, – приняли полузатопленную церковь с ее порталом за плавучий док. Пускали красные ракеты – сигналы о помощи.

РАССЛЕДОВАНИЕ

Пошла относить банку к нашей молочнице Евдокии Степанне, одной на всю деревню державшей корову, тощей хитрой бабе с большими золотыми шарами в ушах и в старых полинялых кальсонах под ситцевой юбкой. В глаза Евдокии льстили, приглашали пошутить или позлословить – за глаза считали ее деньги, по деревенским понятиям немалые, судили за прижимистость и злопамятность.

И были на то основания. Скосишь у себя перед домом траву – знай, посчитает бабка Дуня за личную обиду: «Моя корова здесь паслась» – и не даст молока. И вот соберутся обиженные на лавке и начнут ее ругать. Дескать, молоко она водой разбавляет. Может, и вовсе у нее половина мела: сливков-то давно не видать. Решили, что украденное у своих покупателей молоко возит в Москву ее сын на казенном грузовике. Партийных шишек, мол, каких-то поит. Евдокия Степанна, скорее всего, агент, за верхушку она, против народа.

Я гляжу на Евдокию, думая про ее привычку никогда не смотреть в глаза, а самой украдкой стрелять изредка своими маленькими глазками, прошибать насквозь. Она льет мне молоко, и я спрашиваю про клад: «Знаете что о нашем кладе?»

Рассказывает, слова тянет, после каждого предложения добавляет надоедливое «Вот-а-а...».

– Была я еще до войны трактористкой. Вот-а-а. Боевая, хлесткая девка, специально для трактора создана! Все, что нужно и что не нужно, пахала – до того любила. И вот однажды мне поручают распахать взгорбок, вот-а... на нем церква стояла. То, что трактором не возьмешь, лопатой подцепишь, – говорят, – там уж несколько камней осталось. Поехала на то место. Вот-а-а... Уж и так и сяк подступалась, да что там! Как трактор начнет подрываться к фундаменту – древние камни в землю просядут. Как заколдованные прямо. Уходит церковный фундамент в землю – и все. На следующий день поднялся ураган. Унес два новых ведра, угробил кур – раскидал головой об землю и подохли. Полкан со своей конурой уехал на картофельное поле. Свиныя в хлеве все зубы себе выбила об кормушку, так что резать ее пришлось. А сколько в доме посуды перебилось! Вот-а... Ни солнца, ни зари не было в тот день. Все время что-то щелкало. Ко мне в дверь шаровая молонья – я под кровать. Дыхание затаила, Бог миловал. Вылетела через окно молонья по сквозняку. Вскоре пахота вокруг того холма зарастать стала... Теперь не найти его.

На такой лирической ноте бабка Евдокия закончила свой рассказ, – но молока все же до литра не долила.

Еще был у нее один недостаток: старческое бессмысленное воровство – по-новому – клептомания. Эта ее клептомания впоследствии нанесет урон нашему хозяйству в новом доме. Хотя, конечно, мы тогда станем жить по пословице: вор придет, заплачет – брать нечего. Но Евдокия Степанна неприхотлива – старая крышка от кастрюли, веревка, проволока – и это возьмет. Хотя и электропила, и лопаты, и топор тоже по ее вине пропали. Другой ее слабостью было прекрасное, эквивалентом которого она считала кружевные нейлоновые накидки на подушки. Покрывала этими накидками все: подушки, стулья, диваны – и никуда не сядь. Портретики разных лубочных красавиц тоже любила. На бабушкины репродукции смотрела с видимым отвращением – не нравились ей белоснежный овал лица Натальи Гончаровой – большая, что ль, какая? – и надменность жеманной Лопухиной.

Я так и не добила от Евдокии Степанны сведений о кладе, но засомневалась: может, клад находится не за Екатерининским каналом, в могиле генерала, а в фундаменте церкви?..

Черепенина – самая старая деревенская жительница, не считая Крёстной. Наша соседка.

Лет ей было за девяносто, и семейные давно не считали ее за человека. Черепенина на ходу видела сны, давно потеряла память и ум.

По ее вине в доме что-нибудь да выходило из строя, загоралось, ломалось. Она всегда появлялась там, где больше всего мешала.

В нашей семье старуха Черепенина была известна как злейший враг: она ежедневно выливали ведро помоев на наш забор и даже за него. Каждое утро после завтрака наша делегация шла определить свежесть картофельных кожурок на заборе. Это были счастливейшие минуты сплочения нашей семьи. Мы не оставались в долгу и отвечали тем же, кидаюсь консервными банками в соседей.

Помойная война продолжалась несколько лет.

Дед писал в сельсовет, потом выше, – но его прошения оставались без внимания. Это была вторая обида деда на органы после расстрела его отца, царского офицера, на Лубянке.

Однако я не отчаялась, спросила про клад старуху Черепенину.

Она ответила:

– Корова – мой клад.

Рассказала, что во время войны почти вся деревня была сожжена и весь скот перерезан. У нее была корова, Дунькой звали, кормила семерых детей. Ночью Черепенина увела ее в сарай на краю леса. За три дня Дунька не промычала ни разу, а ведь не доили, ни пить, ни есть не давали. Немцы ушли, и это была единственная в деревне спасенная корова. Масти она была какой-то необыкновенной, рыже-серая, что ли. Рога белые.

Дальше старуха стала говорить, что ее корова плакала и улыбалась, когда она вела ее домой.

– Корова моя – святая. – Черепенина доверительно наклонилась ко мне и зашептала: – Она наш огород защищает! Вот и кабаны у меня, как у других, картошку не роют.

– Маша! – зло прокричала мама. – Иди обедать! Что ты там делаешь? – Подразумевалось: на вражеской территории.

Я поднялась, старушка тоже куда-то поплелась, бормоча себе под нос:

– Какая Дунька у меня была, чисто фрейлина...

Очень любила Черепенина свою корову. Что бы ни случилось – дочь ли огреет за высыпанные в навоз огурцы или просто поговорить не с кем – уходит старуха грустить в огород, на коровью могилу, со смертью своей разговаривает: когда ж ты придешь, старая? Мы с тобой вроде как подружки, чего не жалеешь меня?

МОЯ РОДОВА

Шестикомнатная квартира на Солянке принадлежала до революции моему прадеду, инженеру-железнодорожнику, впоследствии белому офицеру, расстрелянному на Лубянке уже стариком, в сорок первом, когда его сын, мой дед, ушел добровольцем на фронт. Помимо деда у четы было еще три дочери.

Семья железнодорожника жила в вечных переездах. Не раз внезапно теряли нажитое, то в Польше, то во время наводнения в Маньчжурии, когда солдаты, по пояс в воде, выносили детей на кроватях. Потом прадед ушел с белыми, – прабабка одна осталась с детьми. Тиф. Рассказывала: что ни день, то новая власть, и все есть просят, последнее отбирают. Ходила побираться с мешком, собирала сухие плесневелые корки для детей. Между тем на мужа было заведено досье. Несколько раз приходили забирать.

Однажды четырнадцатилетний комсомолец, приятель моего деда, предупредил, что наутро придет со старшими коммунистами арестовывать его отца. Прадед бежал. Но в сорок первом Лубянка настигла его. Когда дедова сестра Катя написала брату на фронт, он пошел на Лубянку. Деду выдали документы отца, какие-то вещи. Он обозвал чекистов эсэсовцами, но его не посадили – имя значилось в списке специалистов, отправляемых в Германию. На бумаге стояла подпись Сталина.

Итак, дед не оказался жертвой режима, – он оказался жертвой деспотической любви собственной матери. Софья Петровна до смерти держала детей при себе, не позволяла создавать семью. Однако дед все-таки сбежал временами на волю и даже умудрился жениться. Правда, вскоре вернулся на Солянку. Бабушку мою свекровь ненавидела, дескать, эта рыжая вертихвостка с генералами крутит, погубит она Коленьку. Деду не раз приходилось спасать жену от смерти, когда Софья Петровна гналась за ней с чугунным утюгом или палкой с набитыми на нее специально для этой цели гвоздями. Бедный дед всю жизнь бегал между Солянкой и нимфой Ксенией, моей бабушкой, с ее борщом и большой белой грудью, которую он, как и В. Лоханкин, ценил в жене больше всего. Правда, наш дед был красавец и всегда кроме этих двух квартир находил себе еще третью.

В младенческом возрасте моя будущая мама Наташа была похищена из детсада коварной бабкой. Ее мать, моя бабушка Ксения, пострадала и перестала.

Первое время у бабушки Сони мама жила невесело – на ней вымещалась злоба к ветреной невестке. И посудой кидали, бывало. Ведь похищение состоялось не с целью добыть себе любимую внучку, а с целью разрушить семью сына. В одной комнате на Солянке жили Софья Петровна и ее дети – Катя и Кира – с дочерьми. Катино супружество продлилось не больше двух месяцев, и тоже по вине матери.

Катя была учительницей английского в школе в Сивцевом Вражке, где в учениках ходили Света Сталина и дети Кагановича. Получала сладкие пайки с липкими конфетами-подушечками, которые прятала у себя в тумбочке от племянницы. По ночам она читала любовные романы, утирая свою запоздалую мечтательность пятидесятилетней одинокой барышни, много курила, заедала курение конфетами. Вечно горевшее бра возле ее кровати не давало Наташе и ее бабушке спать.

Четыре утра. В семь вставать.

Софья Петровна просит:

– Кать, погаси свет.

Из-за шкафа выплывает клуб дыма.

Изводили друг друга, будто соревновались.

Катюша курила даже во сне и пару раз чуть не спалила комнату. Не однажды семейство задыхалось от вони посреди ночи – горел гуттаперчевый портсигар, на него падала папираса.

Дым, рамы, бегущие по потолку ночной комнаты. Моя будущая мама считала их бессонными ночами. Спали на подушках с думками. Поднимешь думку – горсть надутых кровью клопов. Что сделаешь? Кладешь обратно и опять лежишь в светлом от фонарей аквариуме комнаты.

Длинные, темные коридоры – сэкономили свет – туннели, населенные престарелыми профессорами-педофилами, тетками каннибалического вида, носившими своих тощих больных мужей из ванны на руках, в простынке. Пропойцы получали дефицитную рыбку по справкам о мнимых инвалидностях. Между тем дед строил Турксиб, Днепрогэс и Волго-Дон. Наезжая, покупал дочери шоколадные наборы, на том ее воспитание и кончалось. Иногда заходил и к жене: «Ну, Ксенок, ну спина... Широка-а... страна моя родная. Что мне нужно для счастья? Щи и жена». Частенько супруги разводились, как про то сказано в рассказе моего отца о том,

КАК КАЖДАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭПОХА СОВПАДАЛА С ЖЕНИТЬБОЙ ДЕДА НА БАБУШКЕ

Первый развод совпал с предвоенным съездом КПСС. Следующая женитьба – со съездом партии в 1952 году. Но потом съезды стали так часты, что дед не успевал ознаменовать их своей новой женитьбой на бабушке. Последний раз он женился в том же году, что и мы с твоей мамой, и понял, что отстаёт от хода истории.

...На это моя мама гневно отвечала, что это все поклеп периферийника – дескать, приехал с Урала, женился на девушке с площадью.

Жилплощадь для дочери явилась жертвой моего деда и бабушки – и одновременно целью их последнего развода. Жертвенность моей бабушки велика, как о том говорится в ее монологе.

МОНОЛОГ БАБУШКИ

– У меня трудная и мученическая жизнь. Мать моя в карете с электричеством по балам ездила, а отец заведовал сахарным складом. Умер от голода в двадцатом году, и мы остались без средств к существованию. Мама ходила по дворам, стирала. Помню, сидим на веранде с витражами и делим белые и черные сухари. Картошку прямо со шкурой ели. Туфли одни на трех сестер. Одна гуляет – две дома сидят. А какие платья нам мама шила из подкладок своих пальто на Пасху! Шелк переливался, как радуга!

В школу я ходила через лес, в Кашенкин луг. Любила учиться. Заберусь, бывало, на чердак и учусь с утра до ночи. А ты вот, Маша, не хочешь учиться, как же так можно. В техникуме я так хорошо училась, что после его окончания вместо техника-холодильщика стала работать инженером. И вот поехала я на практику и встретила твоего деда. В него все девочки влюблены были, он всем «отлично» ставил без разбора, а мне говорит: «Ну что ты все учишься? Пойдем на лодке покатаемся». А я гордая была. Пусть, думаю, за ним все бегают, а я – не буду.

После техникума меня распределили, как техника холодильных установок, на станцию Оршу, где я должна была следить за сохранностью продукции в вагонах-рефрижераторах. Мне нужно было измерить температуру в вагонах-холодильниках с сочными грушами дюшес, предназначенными Пилсудскому. Было холодно и страшно лезть по обмерзшей лестнице на рефрижератор. Я не полезла. На границе обнаружилось, что груши сгорели и превратились в суп. Мне дали бы лет пятнадцать лагерей, если б не начальник станции. Посоветовал бежать в Москву. Той же ночью я уехала. В Москве встречаю твоего деда и говорю: «Готовы вы все бросить ради меня, бежать со мной, если нужно? Меня НКВД ищет».

Он согласился, и вот я всю жизнь с ним страдаю. Сколько любовниц имел!.. А как я его люблю – никто никого никогда не любил так на земле! Я хозяйка железная: в два часа ровно обед на столе из трех блюд. А когда он на работу ходил – суп в банке и котлеты в фольге.

И ушел на Солянку к своей матери-ведьме – а та у меня ребенка выкрала! Я часами под окнами их квартиры стояла, ждала, может, выглянет доченька в окно. Бабка меня с лестницы спускала, набьет гвоздей на палку и бежит за мной – изуродовать хотела.

И дедушка твой в нее. Вот после войны, например, было: я отоварю свои карточки, как холодильник, принесу домой продукты. А твой дед любил намазать масла толще, чем хлеб. Это вредно. Я ему и говорю, тактично так, ласково: «Ты прямо с палец намазываешь. Не мог бы поменьше?» А он как побледнеет, как стукнет кулаком по столу: «Вон из моего жилья!» Иду по улице, плачу. И при этом – всю жизнь ему верна. Ни на кого не посмотрела ни разу, – а сколько за мной мужчин ухаживало! И директор склада, и геолог, и полковник, правда отставной, и грузин в Гурзуфе... о-ой! Знай, Маша: твоя бабушка – мученица!

ЛОПАТА КАК ОРУЖИЕ ПРОТИВ НАРУШИТЕЛЕЙ СЕМЕЙНЫХ ГРАНИЦ

Через две недели после этого рассказа меня рано разбудили голоса стоявших, очевидно, на тропинке, у калитки.

– Да что ты, Ксенок, очумела? Это же я, – говорил мужской голос.

– Кто вы? Я вас не знаю. Уходите, откуда пришли! – звучал злобный и будто бы удивленный бабушкин голос.

– Ну да, ты меня не знаешь. Я марсианин, с парашютом к тебе спрыгнул! Слушай, у меня горе: открылась измена. Мой сын – не мой сын!

– С чего ты взял?

– Наука! Я водил его в лабораторию установления отцовства. Кровь у нас брали.

– Ошиблись! Знаешь, сколько ошибок в науке, в жизни? Вся жизнь – ошибка!

– Какая ошибка! Я оскорбленный отец и муж. Где отведешь мне место?

– Я честная женщина, я мученическая жена. Не кидай тень на мою хрустально чистую честь. Иди к своему сыну.

– Ты меня изгоняешь? Меня из-за тебя мучила эта блудница вопросами, почему у меня по вечерам заседания кафедры, а ты... Все вы такие. Твой-то хоть дети – твои?

Пауза. Послышался глухой удар лопатой, а затем хруст ломаемых клумб. Утренний гость убежал, сделав в пионах траншею.

На следующее утро бабушка обнаружила большой ущерб в морковной гряде и пошла искать виновника за огородом, и по дороге обнаружила пропажу старой телогрейки с чучела.

Я сопровождала ее на охрану нашей границы. Наш огород переход в поле, заставленное стогами. Опершись на лопату, бабушка хмуро глядела, как из ближнего стога выдирался длинный человек в штормовке, снимал с головы и плеч космы соломы. После чего стал шарить в дыре и выволок рюкзак.

Он отряхнулся, пригладил волосы, окружавшие его тонзуру, и стал уговаривать бабушку, говоря, что он «еще хорошо сохранился».

– На чай и не надейся, – отрезала бабушка.

– Розанчик мой прелестный... Ну как же...

– Что-о? Розанчик? Так... Ты же меня всегда Ксенок-Колосок называл? У тебя, значит, весь набор садовых цветов был?

Вскоре бабушка заставила себя понизить голос, очевидно вдохновленная какой-то целью.

– Значит, не хочешь возвращаться больше к себе на Маркса, 17? Никогда?

– Никогда на Маркса, 23 не возвращусь! Отрезаны пути!

– Никогда не возвратишься в свою двадцатую квартиру?

– О нет, эта пятнадцатая квартира – мой позор.

Бабушка впала в размышления, а потом извлекла из кармана ватника два бутерброда с тонкими ломтиками сыра и отдала приятелю со словами: «Не порть мне гряды». После этого мы ушли в дом.

В тот же день она уехала в город, оставив меня на соседку Капу, из города по выведенному адресу послала телеграмму сыну старого друга, сообщив о местопребывании взбунтовавшегося отца.

Наутро бабушкин дружок еще издали увидел синий «москвич» своего сына и спрятался в лес. Так что на первый раз избежать пленения ему удалось. Однако ночевал он по-прежнему в стогу. Бабушка поставила пол-литра шоферам, чтобы они начали увозить стога сперва с нашего поля, а не с соседнего, и они убрали жилище беженца.

Он впал в апатию и на следующий день был забран сыном домой. Я его рассмотрела: длинный, худой, с облетевшей головкой. Про такого говорят «волос в супе».

Перед отъездом бабушкин гость кричал на всю деревню, обращаясь к толстому человеку с заросшей головой, вылезшему из машины:

– Оставьте меня! Я вас не знаю!

Беженец бился и орал на всю деревню.

– Папа, тебе вредно волноваться, – отвечал вла делец синего «москвича», заталкивая отца в машину. – У тебя сердце.

– Какой я вам папа! – слышались из машины приглушенные крики. – Спросите у вашей матери, кто ваш отец!

В НОЧЬ НА ИВАНА КУПАЛУ

Среди бесконечных бабушкиных разговоров о еде и маминых страхов жить было скучно, а порой и тяжело. Окружающий мир – деревенские – относились к нам настороженно. Не свои мы им были, «горожане», «москвичи». Бабушка относилась к той же Евдокии-молочнице свысока, называла ее, бывшую старше, Дунькой. Та обращалась к бабушке на «вы». Дед вел помойную войну со старухой Черепениной и был всецело поглощен ею. Мама не выходила на улицу вообще. Отец наезжал редко, дома не любил, с дедом и бабушкой цапался.

Я защищалась фантазией, мечтала на ходу, одиноко сидя посреди поля или за супом.

Почти каждую ночь снился мне французский генерал – каждый раз в ином облике – то с головой, то без головы, – то в мундире, огненно сверкая глазами и размахивая шашкой, – то во фраке, танцующий старинный полонез, – а то и вовсе в позе мечтающего Пушкина, прислонившийся к сосне возле могилы и глядящий на звезды. На лице зеленоватый цвет луны.

Помню, мне приснился сон. Иду я в ночь на Ивана Купалу через заросший Екатерининский канал по насыпи. Белая луна на небе. Вхожу в лес. Бугор разверзся. В нем полыхает что-то огненное. Слышу над собой улыбчивый старческий голос. Вероятно, древняя речь. «Аще бо серебро или золото скровино будет под землею, то мнози видят огонь горящ на том месте, то и то же дьяволу указующу сребролюбивых ради». Такое что-нибудь. Испугалась я и уж бежать хотела обратно, но вижу, манит меня кто-то издали и тихонько зовет: «Маша, Маша». Подошла ближе, земли под собой не чувую, глянула в разверзтый холм, а там, в гробах, один в другом: золотой – серебряный – железный – генерал лежит. Мундир из алого сукна, ордена и шпага блещут, в головах что-то переливается желто-синим пламенем. Цветок папоротника! Генерал манит меня, и ступила я на тот холм, где его вместилище находится, – вдруг все вмиг изменилось. Вижу, стоят столы длинные, за столами гости веселятся, звон чарок. На столах блюда серебряные, бутылки зеленого стекла в сетке, высокие подсвечники. Одна дама с покатыми плечами и рыжеватыми, хной крашенными локонами, вся молочно-розовая, в белом платье в пол, залиvisto так смеется. Хочет отрезать с большого блюда себе кусочек, да не может: на блюде что-то ерзает. Подхожу ближе, глянула. На блюде вертелась, стараясь улыбаться всем гостям сразу, голова генерала. Бросилась я бежать, добежала до венецианского мостика, который раньше насыпью был. Голова кружится, упаду, думаю, в воду и утону. Слышу, кто-то романс поет, голос ко мне приближается, а слов не разберу. Из белого тумана, что по воде стелется, выплывает лодка, на веслах генерал, довольной улыбкой сияет, рядом – дама в кудрях.

Подплывают и будто меня не замечают. Вижу: дама та – вылитая моя бабушка! Стоит в лодке и поет:

– Ой, белки-белки-белки, ой, жиры-жиры-жиры! Витамины – наша цель! И нельзя нам отступать.

Страх у меня как рукой сняло, все на свои места возвратилось, канал снова зарос, и мостик исчез.

...И вот, наконец, долгожданный Иванов день в моей жизни настал. Меня, конечно, в лес не пускали. Я затаилась в своей постельке и ждала, когда мать уйдет к отцу. Надо дожидаться, пока она перестанет ругать отца и затихнет, и сбежать в лес.

Последнее время мама ругается долго – отец все время живет в Домах творчества. Когда его нет, мама тоскует по нему и даже от тоски иногда звереет и дерется с бабушкой. Перебранка за стеной стихала и наконец кончилась. Я стала перебирать в голове рассказы Крестной и вспомнила, что надо знать три молитвы, чтобы прочесть их над цветком папоротника. Кроме того, надо взять с собой косу. Ее лезвие переломится на разрыв-траве.

Ни одной молитвы я не знала и решила сочинить по пути, заодно обороняя себя от нечистой силы. Нужно было взять косу, но она была длинная и страшная, меня родители учили бояться косы – но как без нее? На которой траве коса переломится, – учила Крёстная, – та и есть разрыв-травка. Ладно, возьму вместо косы лопату. Повесила за колечко будильник на шею – чтобы знать, когда стукнет двенадцать.

Волоча лопату, отправилась со двора. Как только я вступила за калитку – меня обволокла черная беззвучная ночь, пахнувшая ночными травами. В поле я, чтоб было не страшно, вслух разговаривала со святым Николой Угодником, как велела Крёстная: «Помоги, дедушка Николай Угодник. Я – чадо твое. Ты во сне приходил ко мне, сманил меня на это путешествие. Если берешься помочь – подкинь ветку до поворота».

Ветку он мне подкинул после поворота. «Старый, глуховатый – что с него взять? Я же ему говорила, что до поворота», – думала я.

Тропа вывела меня к лавам, я не глядела вперед, занятая тяжелой верткой лопатой. Внезапно из-за речки и как бы рядом с неба раздался жуткий костяной звук. Будто огромный жук скребся в гулкой коробке. Пятясь, я видела, как на лавах вспух черный ком, заворочался и развалился в стук и всплесках.

Я попятилась к Нюриному дому.

– Боженька, защити!..

Меня испытывали. Пугали. Такое дело – Иванова ночь!.. Тут я разглядела полосу тропы, протоптанную к прибрежному леску. Тропа привела к речке, берег был истоптан. На илистом берегу лежал плотик. Здесь Нюра брала воду и купалась ребяшня.

За поворотом на лавах по-прежнему рычало и стучало, и завывало машинным голосом. Держа обеими руками лопату, я спустилась с плотика. Пыталась успокаивать себя, на груди под домашнему тикал будильник. Тут с противоположного берега свалилось что-то черное, будто пень бросили. Оно двинулось ко мне, оцепенелой от ужаса.

Чудище говорило само с собой человеческим голосом:

– Ведь говорил тебе, не пей!

– Да я ж немного.

– Немного? Аж в ушах звон и в животе бурлит. А теперь и вовсе под вражеской шашкой француза безвестной смертью в лесу погибать. Говорил тебе – прими свои двести пятьдесят и иди.

– Ага, прими, сам возьми, – со злобой передразнил другой.

– Опять сегодня полтонны скрепок в брак спустил. А если найдут?

– Не найдут. Может, это не я, это, может, Кузьмич сделал, у него станок поломан...

– Негодяем ты был, негодяем и остался. Взятся не за свое дело! Пас коров – и паси.

Тут я, пятясь, скатилась кувырком с холма. От падения старый будильник произвел дикий треск, а потом истерически зазвенел. Я потеряла босоножку. Одновременно с будильником голоса хрипло взвыли, будто стараясь вывести какую-то высоченную ноту. Поблизости я услышала падение. Увидела перед собой то загорающиеся, то потухающие огоньки. Темная фигура поднялась, покачнулась и упала. На генерала не похож. Без орден и сабли.

Я и фигура сделали шаг друг к другу.

– Дядя Шура? – узнала я нашего соседа по прозвищу Серый, только что изгнанного из пастухов, который встретился мне в этом же месте месяц назад, когда я репетировала поход за кладом.

– Маша – ты?.. – Серый поднялся на локтях.

– Что вы здесь делаете? – спросили мы друг друга хором.

– Я от генерала убежал... – смутился Серый.

– Вы его видали? – вытаращила глаза я.

– Не видел, но грохот и звон слышал... Я заблудился. С работы возвращался, ногу вывихнул.

– Да вы его не бойтесь, – храбро сказала я.

– Он вообще-то давно уже не показывается. Я когда в школе учился... на рыбалку пойдешь, он из-за елки вылезет, «о'кей» – говорит, а я ему: «хенде хох!» – так и разойдемся.

Пошли обратно. На лавах мой попутчик отстал.

– Что это вы, дядя Шура?

– Ох! – застонал Серый. – Нога...

Его вывихнутая нога застряла между досками моста.

– А с кем вы говорили, дядя Шура? – спросила я.

– Да я сам с собой... выяснял отношения.

Выбрались на берег. Одной рукой Серый опирался на лопату, другой на мое плечо. Поносил не меня, хотя вывихнул ногу, напуганный моим будильником. Поносил городскую шпану, она кучей подвалила на мотоциклах и кладет настил на мосту, по-нашему – лавах. Лавы для мотоцикла непроходимы, а пацаны хотели спрямлять путь с Пятницкого шоссе на Ленинградское. Как я уразумела, Серый сцепился с мотоциклистами, и ему наподдали. Грозил натянуть стальной канат, чтоб слетали их срезанные головы.

Вот они! Летят!

Мы устроились в засаде у тропы, идущей от лав. Вжались в кусты, ослепленные светом фар.

– Первый! – злорадно прошептал Серый.

Головной мотоцикл преодолел лавы. Из магнитофона неслось: «Новый поворот! Что он нам несет?! Пропасть или взлет?!» Накатывали и накатывали мотоциклисты. Свешенные волосы, блеск никеля.

Я стояла на стреме и тряслась, ведь рокеры могли вернуться. Серый подрыл столб, трудясь по плечи в воде, с вывихнутой ногой. Лавы повалились в воду, с треском отвалились ветхие доски.

Эх, разве я тогда могла знать, что, помогая Серому остановить ночное нашествие, на годы отодвинула встречу с Борисовым? К тому времени минул год, как прошел Тбилисский фестиваль, где Борисов был с зеленой бородой, – и они вдвоем слевой Такелем вытворяли всякие чудные па. Играли лежа на сцене. Было время Башлачева, Цоя и Майка...

Гонцы мне были посланы. А я вручила лопату Серому, встала с ним плечо к плечу. Да что я себя терзаю! Самые интеллектуальные из колхозных ребят крутили тогда «Машину времени» – имя Борисова и сейчас вызывает у деревенских смех.

Дошли до деревни. На прощание Серый попросил меня заступиться за него на работе.

– Завтра пойдем со мной на завод. Я там скрепки делаю. Меня там не понимают как человека.

Я легла спать, и никто ничего не заметил.

Наутро Серый выпросил меня у мамы, и мы пошли к нему на завод. По дороге Серый, хромой, с палкой, перьями в голове, говорил что-то непонятное про честь, совесть и человеческие слабости, и все оправдывался передо мной в том, что он спускает ежедневно по тонне скрепок, которые бракует будто бы его станок, в озеро, – но нашему могучему государству от этого ущерба не будет.

– И вообще! – заявил Шурик. – Мое дело – коров пасти, а не скрепки делать!

Нас пошатывало с недосыпу: мотоциклисты прорывались через Жердяи под утро. На заводе Серый водил меня в медпункт и в отдел кадров, предъявляя вывихнутую ногу и меня, спасенную в ночном лесу.

Мы очутились в комнате под названием «Отдел кадров». За столом сидела толстая тетка в полосатом платье, с популярной в наших местах прической под короткошёрстого барана. Только она вынула из сумочки запакованную в фольгу булку с маслом...

– Здравсте, товарищ Заворотило, – сказал Серый. – Оплатите, мне, пожалуйста, по бюллетеню производственную травму – полученный вывих ноги. Героически спасал маленькую девочку.

– Не выдумывайте, – отрезала Заворотило. – От вас пахнет. Вы пьяны, товарищ Серов. Мы вам не только бюллетень не дадим, мы вас выгоним! Давно пора!

– Я спасал маленькую девочку! Заблудилась в лесу. Ночью! – повторял Серый. – При этом я сломал ногу. Советское правительство всегда высоко ценило подвиги своего народа... и даже поощряло, а вы подходите к делу как материалист... буржуазный материалист, враждебный нашему обществу.

Серый и сам не ожидал, что может выговорить такие длинные умные фразы.

– Нет, – отрезала товарищ Заворотило, – это никак нельзя считать производственной травмой, потому что эта травма житейская. Кроме того... – Она запнулась. – Вы бы лучше своего сына спасали. Из колоний не вылезает.

– Петровна! Представь... – уже без энтузиазма продолжал Серый. – Ночь. Темно. Бурелом. Овраги. Маленькая девочка заблудилась в лесу...

– За нами гнался генерал, – не выдержала я, – и в руках держал свою голову! Французский.

Заворотило подавилась булочкой, икнула и выкатила глаза.

– Не верьте ей, – заволновался Шурик. – Голова на нем.

– Генерал лежит в железном гробу, а железный – в серебряном, а серебряный – в золотом, как вождь гуннов Аттила, – частила я, думая, что спасаю дядю Шурика.

Про Аттилу я слышала от отца, который пытался преподать мне историю через сказки.

– А рядом с гробами – дверца! – настаивала я. – Ведет в подземную галерею, там лежит имущество личного обоза Наполеона! Упаковано в зарядные ящики и бочонки из-под пороха. Там серебряные оклады с икон, всякое такое церковное. Генерала зовут Де Голль Жозефан Богарне.

– Откуда у вас французы взялись? – спросила работница отдела кадров, чье удивление быстро сменилось раздражением.

– У нас есть... – ответил Серый, – у нас остались!

– А почему от вас сейчас пахнет, товарищ Серов?

– Оттого, что коллектив мне не верит, – с тоской во взгляде произнес Серый.

Заворотило сжалась над ним и прогул не записала.

После этого Серый посчитал меня своим другом и захотел познакомить меня со своим товарищем Степкой. Как я поняла, этот цыганистый мужичок с пронзительными чернящими глазами, родом из Малых Жердяев, оказался наставником Серого в важном деле сокрытия заводского брака.

За время нашего разговора его станок наметал целую тележку негодных канцелярских скрепок. Они сцепились в сетчатое полотно. Серый закидал брак паклей, вывез из цеха и на наших глазах вывалил в озеро.

О ЛЮБВИ

В шестьдесят пять лет у бабушки наконец началась счастливая жизнь. Позади остались годы работы прорабом в полутемных, залитых водой подвалах, где стояли холодильные установки и валялись оголенные провода, а она все боялась удара током.

Во-первых, выйдя на пенсию, она наконец смогла жить с дедом: бывшая против их совместной жизни свекровь умерла. Во-вторых, бабушка получила свой дом – с тремя солнечными террасами, в одной из которых солнце бывало утром, в другой – днем, в третьей – вечером. В горнице, рядом с печкой, стоял телевизор, по которому показывали еще одну бабушкину радость – элегантного патриота своей Родины штандартенфюрер Штирлица, давно жившего за границей и притом верного своей советской супруге!.. Дом деду в нарушение всех правил – до 1968 года горожане не могли иметь дома в деревне – выдали за инженерные заслуги на Волго-Доне и Куйбышевской ГЭС. В-третьих, к дому прилагался огород – источник земледельческих и кулинарных радостей, которые бабушка ценила больше всего.

Счастье по временам омрачалось только ее драками с дочерью, моей мамой. Мама говорила, что ей приходится есть, пока бабушка спит, потому что хозяйка дома экономит на ней. Зато меня бабуля кормила так, что я после обеда даже гулять не могла.

Бабушкина любовь и ненависть всегда выражалась с помощью еды. Папа говорит, что у бабушки религия такая – витаминизация. Ее религия не связывает небо и землю – она утверждает жизнь. Бабушка трижды в день совершает большой обряд моления и множество раз малые. Сколько раз я обнаруживала бабушку за кустом смородины, она запрокидывала голову и выдавливала себе в рот сок из плотно набитого ягодами марлевого мешочка! Это сопровождалось тихими словами благодарности всему существу. В бабушкиных святцах, затертой тетради, имена святых выведены красным карандашом: С, Е, В₁, В₆, D, А, К. Сатана по имени Авитаминоз лыс, беззуб и обезображен рахитом (нехватка витамина К и D), отравлен холестерином.

Согласитесь, бабушкиной религии не хватало романтизма, сентиментальности и красоты. С мужеством пророка, оставленного последним учеником, бабушка терла, чистила, помещивала, парила и варила. То и дело она подкладывала мне яблоко или репку, ставила на стол сырники с шапочками сметаны и произносила проповеди о комбинациях белков и жиров.

Но больше всего бабушка любила картошку-синеглазку. Это была любовь с детства – а такую не пропьешь. Бабушка толкла из картошки пюре, пекла ватрушки и драники, жарила ее на чугунной, покрытой почернелыми слоями сторевавшего жира сковородке и оттуда же ела, не перекладывая в тарелку. Говорила, что самое вкусное – то, что пригорело. Взгляд при этом у нее останавливался, как при медитации. Это было наслаждение в чистом виде. И в самые урожайные годы бабушка жалела картошки на посадку, – а сажала одни «глазки». Сбор урожая осенью был ее любимой порой. Она, как крот, перерывала всю «усадьбу», бережно доставала картошки из земли и клала их в два мешка – в первый красивые, гладкие клубни, во второй – кривые и поменьше.

Толчок бабушкиной страсти был дан в голодные послереволюционные годы, когда она, подмосковная жительница, искала с другой девочкой на поле мороженые картофелины на колхозных полях. Бабушкина подруга считалась богатой: у них была корова. Две девочки ходили в конце марта по проталинам с лопатками. Бывало, там же и съедали добытое, очистив от гнили. Две-три картошечки относили немке Нине, помиравшей от туберкулеза в комнатухе при кухне, которую снимала ее мать. Однажды мимо бабушки и ее подруги ехал мужик. Он схватил девчонок и отвез в сельсовет. Хорошо, у бабушкиной подруги был отец: наутро он нашел их и освободил из заключения.

Еще бабушка рассказывала, как растили картошку в лихолетье: из коровяка делали горшочки, туда совали картофельные очистки с глазками и поливали. Когда земля чуть прогрелась, этот горшочек ставили в лунку и накрывали землей, приминали ладошками.

Я росла в изобилии. Любила только зеленый июньский крыжовник.

Мы с подругой Настей прятались от бабушки за кустом, но она нас все равно замечала и ругалась:

– Кто вам разрешал есть незрелые ягоды? А ну, вон отсюда!

Тогда мы, пройдя инспекцию бабушки, то есть лишившись своих запасов в карманах, шли лазить по ивам, нависшим над болотом. В болото превратился Екатерининский канал. Это было волнующее, экстремальное развлечение.

Еще я очень любила чердак, чьи тайны были скрыты в сундуках, пыльных мешках со старыми, поеденными молью воротниками... Там можно было обнаружить послевоенные елочные игрушки – самодельных сов из грецкого ореха, тряпичных и бумажных кукол. Сказочными казались и бабушкины крепдешинные платья в цветах, прозрачные в тугом луче июльского солнца, идущем из крошечного оконца. В этом луче всегда плавала крупная пыль. На сундуках стояли коробки, украшенные ракушками. Эти коробки, при везенные бабушкой с черноморских курортов, были полны старомодной бижутерией. Я рылась там и находила крупную брошь с потемневшим металлом и выпавшими стразами, поцарапанный искусственный жемчуг, флаконы от «Красной Москвы». Но больше всего я любила разглядывать и примерять бабушкины головные уборы: шляпы-таблетки, шляпы-тарелки, фески, чалмы, канотье, колпаки. Тирольские шляпы, шляпы с двумя и одним рогом, широкополые соломенные с тощим букетиком выцветших цветов на полях, похожие на закуску в санаторной столовой.

Видно, шляпы были второй по счету бабушкиной любовью после картошки. Да и как могло быть иначе? По сути дела, замуж бабушка вышла только после свекровиной смерти, а прабабка жила до девяноста. С восемнадцати, когда бабушка расписалась с дедом, – и до шестидесяти пяти, когда она наконец съехалась с мужем, – она отважно и безостановочно искала свою любовь.

Три самовара поблескивали в сумраке, как рыцари в доспехах. Один огромный, медный, пел. Стукнешь по нему ложкой – и по дому разносится мягкий бас колокола... На чердаке можно сидеть часами, рисовать принцесс в бабушкиных шляпах или писать «по-взрослому» – букв мы с Настей еще не знаем, но у нас получается совсем как у дедушки. Мама против сидения на чердаке: «Идите, – говорит, – на воздух».

Конечно, можно идти «на яму», то есть на карьер, откуда раньше песок брали. Теперь он весь зарос цветами, травами и щавелем. Но для этого надо пройти мимо двора тети Тони, а у нее вечно петухи клевачие. Династия прямо какая-то: сколько ее петухов в деревне помнят, все они драчливые и обязательно кого-нибудь покалечат. Это очень странно – ведь сама тетя Тоня – кроткая и даже забитая женщина, как говорит бабушка. Она только три раза за всю жизнь в Солнечногорске была, в Москве – ни разу. А еще говорят, что животные в своих хозяев идут... У тети Тони муж ревнивый, из дому ее не выпускал. Последний Тонин петух, Вася, по приговору деревни, даже был привязан за лапу к забору.

С «ямы» всю деревню видать: как на ладони. Потому что на горе она. Как за кукольным домом, можно наблюдать за деревней. Вот тетя Капа, бывший бригадир доярок, идет к соседке. Вот бабка Евдокия вышла перед домом для коровы своей косить. Вот древняя Черепенина идет, сама не зная куда. Вот дядя Шура Серый со Степаном бредут к Евдокии пол-литру просить. Ага, и тетя Нюра вышла из своей избушки «лавку» дожидать, через десять минут возвращается с горой серых буханок, похожих на камни. За «ямой» начинается поле ржи, уходящее за горизонт, в ней синие островки васильков. Мы с Настей соревнуемся, кто больше их нарвет. С карьера хорошо видна церковь за лесом, в Малых Жердях. Солнце на закате

обведено красным ободком и похоже на бабушкину желтую эмалированную кастрюлю или на монету из нашего жердяйского клада.

В деревне всегда много происшествий – не то что в городе.

Вот опять у нас в деревне необыкновенный случай произошел. Топталась я на дороге, изучая поведение гусей. Вдруг несется ко мне папа и еще с мостика кричит:

– Иди скорей на ферму, там корова тонет!

И убежал. Я за ним, а по дороге думаю: где ж корова могла утонуть? Разве что в болотине Екатеринбургского канала? Но это далеко от фермы, и там никогда не пасут.

Прибежала на ферму.

Вижу: все жердяи наши собрались, через ограждение вокруг сточной ямы перекинулись, глазюют туда. А там – корова в навозе барахтается, голова одна на поверхности! Яма эта сразу за фермой находится, и в нее транспортер ежедневно навоз сбрасывает. Видно, кто-то забыл двери закрыть в торце фермы, корова шла, шла, о чем-то своем думала – и упала. Теперь она при смерти. Храпит, задыхается, из сил выбилась – барахтаться. Над вонючим морем одни ноздри уже торчат. Дядя Шура Серый выламывает доски из ограды загона и наспех их сколачивает.

Тетьа Капа, отставной бригадир доярок, полгода как на пенсию вышла, кинула дощатый плотик в навозное море и ступила на него. Самая храбрая женщина из всех доярок, одна не боится! Моя бабушка, хоть ее «расстреляй на этом месте», как она говорит, на такое бы не пошла. В руках у тети Капы веревка с петлей, кидает она петлю на рога корове, другой конец привязывает к трактору. Серый заводит.

Корову тащили, она лежала боком, разбросав ноги и безнадежно взирала на мир.

Приволокли ее к загону, ворота перед ней открыли, но, ступив на вновь обретенную землю, она, шатаясь, пошла куда-то вдаль, в сторону поля. Лирический ее порыв не был понят: ее завернули и повели на ферму, мыться.

– Гляжу – и мучаюсь! – признавался мне Серый по пути к дому. – Хоть я уже заводской рабочий, к этой инстанции не отношусь, а не могу смотреть на коровью погибель! В душе я – пастух и пастухом умру! Любовь у меня к этому делу – и все!

ГДЕ ТЫ, МОГУЧАЯ ВЕДЬМА?

Прошел год.

Я ходила в третий класс и много читала. Но только о кладах. Во-первых, старинное издание Черткова «Описание древнерусских монет» – к ужасу родителей: «Маша, не возись с пыльными книжками!» Во-вторых, «Легенду о золотой бабе» Курочкина, и в-третьих, журнал «Уральский следопыт». Журнал этот папа привозил от родни, из Перми. Однако больше всего я любила пословицы и приметы в сборнике Даля. Они стали моими девизами: «клад со словом кладется», «то и клад, что в семье лад», «умеючи и заклотой клад вынимают», «клад положен, головою наложен, а кто знает – достанет», «на клад знахаря надо». Еще я вырезала заметки из газет, – готовилась продолжать свои поиски.

В мае приехала в деревню, одолела щелястые лавы, кое-как поправленные жердяями, – первый дом – Нюрин. Родители убежали вперед, я зашла, поздоровалась.

Этим летом мне пришлось принять деятельное участие в судьбе Тани, парализованной почтаркиной дочери.

Как мотало Нюру с Таней по свету! Нигде не приживались. Где-то под Вологдой было их последнее перед Жердяями пристанище. Там восемнадцатилетняя Таня повздорила с соседкой, вдовой, из-за парня. О той женщине ходили дурные слухи, и многие советовали Тане отступить. Однажды соперница пригласила Таню в гости, и, хотя они за версту друг друга обходили, Таня решила принять вызов. Та говорит:

– Выпей пока воды, я самовар включила... А за самоваром тогда и поговорим, как нам жить-поживать... Эх, жарища!

На следующий день Таня захворала: очень болели ноги, ломило спину.

Стала худеть, выпадали волосы. Поговаривали, что случился сглаз.

Мать и дочь решили уехать подальше от злосчастливого совхоза, списались с Капой, Нюриной сестрой. Она звала к себе.

В Жердях купили этот дом, кривой и кривой. Вскоре после переезда Таню парализовало и ноги отнялись первыми. В то время, к которому относится эта глава, Таня почти слепла, жили только руки. Когда еще могла полусидеть, вязала. Я приносила ей ромашки. Неделю без ромашек ей не пережить, присылает сказать, что ждет букет.

В Твери Нюра разыскала карельскую общину евангелистов. Эти места хорошо знала, ведь они с Капой родом из-под Твери, карелки. Вот и посоветовали Нюре свои: «Уверуешь – Господь дочку исцелит». Община только образовалась, и Нюра была одной из самых деятельных новообращенцев: ездила за дровами, книгами для верующих.

Но вот прошло три года, как поселились они в Жердях, и почти три года, как Нюра ездила молиться. Небесной помощи все не было.

Тут опять нашлись советчики, намекали: «Чем заболела – тем и лечись».

И пошли колдуны. Одна старуха посоветовала: «Помощник тебе нужен в твоих поисках. Возьми с собой непорочную девочку и ступай искать сильного колдуна».

Долго Нюра угощала меня мятными пряниками и «дедовскими» вафлями, пока решилась уговорить поехать с ней. Входила в доверие, мое и родительское.

Разыскали одну городскую, солнечногорскую, колдунью. Приехали. Желтый двухэтажный барак на окраине города. Туалет в огороде. Открыла крашенная в блондинку молодая баба с зелеными веками. Рыжая помада отливала сиреневым, низким голосом грубовато спросила:

– Вы кто?

– Больные. За помощью... Советом. Из Жердяев.

Из-за ноги ведьмы вынырнул серый зверек.

– Какой пусик! Кто это? – обрадовалась я.

– Норка. Пусик – только жрет много. Сама ем суп из пакета – а ей варю с мясом. Как вас звать-то?

Мы назвались.

– А меня Зинаидой. Проходите.

Зинаида владела комнатой и кухонькой. Пока Нюра рассказывала о своем горе, я приглядывалась. Почти всю комнату занимала стенка из ДСП. Еще был продавленный диван, где спал черный кот, и стол в изрезанной клеенке. В углу за стенкой еще один стол – маленький, на двух ногах, прибитый к стене. Покрыт красным бархатом с кистями, на нем фигурки. Рогатый мужик и голая женщина.

– Хм, а покрывало у вас на столе точно такое, какой у нас в школе флаг стоит, возле Ленина, – сказала я.

– А это и есть флаг. Видишь, на нем вождь вышит?

– А это что за фигурки? – опять спросила я.

– Богиня-матерь и Рогатый бог, – важно ответила ведьма.

– Котик... Как зовут? – Я погладила кота.

– Имп. По-английски – «Черт». Из прошлого кота мой друг по содружеству сделал перчатки для культа. Я сама не могла. Жалко очень...

– По какому содружеству?

– Солнечногорских ведьм.

– Убили? – ужаснулась я.

– Слушай, а зачем ты ребенка с собой таскаешь? – обратилась Зинаида к Нюре.

– Мне посоветовали, что надо невинную дитю...

– Бред, – отрезала Зинаида. – Чем меньше детей посвящено, тем лучше.

– Ты такая молодая, красивая, – любовалась на Зинаиду Нюра, – а жизнь свою дьяволу отдала.

– Красивая... А я и призвана околдовывать, охмурять! И вообще, – вдруг взорвалась ведьма, – вот сколько мир стоит, столько и винят женщин. Утверждали, что женщина слабоумна, что она совратительница. Ведьм обвиняли в мужской импотенции, во всем... А ведь ведьма вышла из культа Богини-матери, из всех этих Иштар, Афродит, Марий, наконец... Ведьмы – женщины, живущие своим умом! Потомки амазонок, племена которых встречались по всему миру. Об индейском племени воительниц пишут королевские чиновники Хуан де Сан Мартин и Антонио де Лебрихи. Оба они принимали участие в походе конкистадора Гонсало Хименеса де Кесада в XVI веке. Но наши славянские ведьмы – потомки самых великих амазонок! Которые на Украине жили! В России всегда уважали ведьм, в Судебнике XVI века написано: если ведьма принесла тебе вред – возьми с нее штраф. Само по себе занятие ведовством не являлось преступлением. Женщина не должна подчиняться мужчине, нет! Не так это было задумано. Это всякие там потомки одномерного мира религиозных фанатиков отравляют нам нашу современную жизнь! Сегодня мы, ведьмы, служим для раскрепощения общества, наша новоязыческая религия должна служить удалению тревог, несчастий и скуки. Обо всем этом ни черта не заботится ваша церковь. Человек и природа...

– Это мы, грешные, не понимаем, а вот ты нам скажи, что нам де... – начала Нюра.

– Приеду. Погляжу на твою дочку, – сказала Зинаида.

Надо же, угадала!

– Сейчас мне некогда, может, на той неделе, – продолжила она. – Еду покупать холодильник с моим другом по содружеству, хороший мужик, он мне и стенку купил. У вас в Жердях колдун был, Мусюн, извозчиком в Москве поначалу служил. Черную книгу имел, потом с помещиком вашим Зверевым спознался...

– Так и есть, извозчик, матушка, да, с помещиком, матушка, да, – зачастила, волнуясь, Нюра.

– Вот как пропала Черная книга! Заковало ее, говорят, на десять тысяч лет в стенах Сухаревой башни страшное проклятие, но, видно, не выдержало проклятие силы Мусюна. Отдалась книга в руки колдуну. Неви-иданную силу получила ваша Крёстная от деда! Сильнее она ведьмы Киевской и сестры ее Муромской.

– Так и есть! – вскрикнула Нюра. – Только не берется лечить Танюшку.

Следующий раз мы с Нюрой ездили куда-то за Подсвешниково.

Адрес дала сама Крёстная. Еле добрались. Пять домов было в том хуторе. Подошли, глядим – а они будто нежилые. Заросшие бурьяном участки. Заборов нет. Зашли в первый дом. Долго стучали, наконец дед открыл нам. Беззубый, в валенках, полосатых штанах и косоворотке – точно такой, какой был у нас на стенде в кабинете истории под надписью «Капитализм в России». От его желтой бороды сладко пахло трубочным табаком, как от папиной. Но в Солнечногорске и тем более нашей деревенской «автолавке» такой табак не продавали. Откуда?..

Дед долго на нас тарашился вместо ответа, а потом сказал, почему-то радостно улыбаясь:

– Старуха Настасья уж год как померла. В доме никто не живет. Вон ее дом...

Мы обогнули дедово жилище и задами подошли к Настасьиной избе.

Из полыни на месте бывшего огорода на нас выпрыгнуло нечто, хрипя. Это был одичавший петух. Повернулся в профиль и стал нас разглядывать злым красным глазом. Подошли к дому с улицы. Стоим и глядим, нас будто притягивают эти крест-накрест забитые окна. И вдруг... из темени на нас глянуло скуластое желтое лицо старухи – кожа и кости!.. Пропало.

Орем, бежим мы с Нюрой, не видя дороги.

Только добежав до автобусной станции, очухались.

На время меня увозили в Москву, и я не сопровождала Нюру по колдуньям.

Знаю, одна знахарка велела ей «выкатывать» Танину порчу семь недель подряд – яйцом. Яйцо нужно было взять свежее, с зародышем. Нюра все время путалась: то забудет слова православных молитв, то оторвет яйцо от тела больной, и, стало быть, порча растечется по всему дому. Другая ведунья велела тащить Тяню на перекресток. Перекресток, знала я со слов Крёстной, место неладное: на перекрестке черти в свайку играют, яйца катают. Захочешь увидеть не к ночи помянутого – иди на перекресток и становись спиной к месяцу.

Так вот, знахарка сказала посадить Тяню на землю, на пересечении дорог – пусть сделает вид, будто потеряла что. Если кто из проходящих спросит, то нужно сказать: что найду, то тебе отдам. Потом стереть рукой болезнь и махнуть в проходящего. Проходящей оказалась Капа, шедшая с поздней стирки от речки. Нюра, конечно, не стала передавать ей болезнь. Она лишь убедилась, что рок неумолимо препятствует выздоровлению дочери.

По совету другой колдуньи Нюра клала на свою дочь запертый замок, чтобы та выкликнула недоброжелателей, но она только невнятно хрипела. И тут убедилась Нюра: «Сильны, проклятушие, не дают выдать их». Вслед за этим Нюра пыталась «отчитать» дочку. Мой отец достал для нее тексты заговоров у одного кандидата наук, специалиста по фольклору. Я носила их перепечатывать для Нюры, – к машинистке в соседний дом. Вспоминаю такие слова: «Лягу я, раба Божья, благословясь, встану я, перекрестясь, из сеней дверями выйду я в чистое поле. Встану на восток лицом, на запад – хребтом, поклонюсь в восточную сторону. С-под восточной стороны идут три Божьи Матери. Первая идет со святой водой. Вторая Божья Матерь идет со святою пеленою. Третья Божья Матерь идет со дьяном и ладаном. Я поклонюсь первой Божьей Матери: Ты, Божья Матерь Мария, напой рабу Божью святой водой – от притца, от прикоста, от людского переговора, от худой думы родительской...» Помню, поразила меня просьба защитить от отца и матери. Другое заклинание было обращено к другим господам: «Стану я не благословясь, пойду я не перекрестясь, не из сеней не сенями. Из дверей не две-

рями...» Я никак не могла понять – как же это – не сенями и не дверями: в окно, значит, надо вылезать или в трубу вылетать?.. Дальше следовало ползти и красться «мышинными тропами, собачьими следами», чтоб увидеть «ветряного мужичка», который метко стреляет в твои хворобы, – а потом «без аминя зааминиться». Другой заговор начинался воззванием к Царь-граду: «На восточной сторонке стоит Царь-град, в том Царь-граде Христов престол». А рядом с Христовым престолом, дескать, стоит печь – и как крепко она стоит – так пусть крепко будет мое слово!..

Я удивилась, что и у Христа на небе тоже есть печь, как у нас в Жердях. А также решила, поразмыслив, что качество заговора, конечно, от печки зависит: если она хорошо сработана, как у деда, – тогда к ней и обращаться можно. Ну а если как у Крестной – полуразваленная – тогда лучше не надо.

Когда и «шептанье» не помогло, мы ездили с Нюрой аж в Клин к некоей Маргарите Семеновне. Отыскали коммунальную квартиру. Нюра бросилась к колдунье со слезами, подарила синюю шерсть на платье и купленный в районе набор рюмок.

– Матушка, помоги! Сглазили мою дочушку до паралича... Можешь?

– Я все могу, – отвечала толстущая Маргарита Семеновна басом.

– Не встает уже три года почти что... Можешь? – все рыдала Нюра.

– Уймись, мать, уймись. Могу. У меня это наследственное. Для примера рассказать могу, как моя бабка свою подружку в гроб свела. Они были соседками. Что ни день, то несут друг на друга – на всю деревню слышно. Перекинулась однажды соседка моей бабки через забор и кричит: ты, говорит, надоела мне, оченьки мои тебя б не видали. Сдохнешь ты завтра мне на радость! А моя бабка, не будь дурой, отвечает, а сама посмеивается: «Я-то сдохну, не бойсь, да и ты меня только тремя днями переживешь». И правда, отдала концы моя бабушка на следующий день, а через три дня ее соседка на похороны пришла, в лучшее платье вырядилась, идет впереди похоронной процессии радостная. На повороте машину с гробом тряхнуло, моя бабка из домовины вылетела и упала на свою соседку. Пришибла ее до смерти!

На середине рассказа кто-то начал колотиться в стену и рычать. Ведьма озабоченно озиралась, но, когда стук прекратился, она заговорила вновь:

– Слушай, значит. Я знаю верный способ от всякой болезни. Достань черную кошку, если у нее есть хоть три светлых волоса, то выщипи их и жди, пока вырастут новые. У этой кошки в Ивановскую ночь вырви глаза и истолки вместе с травой тирlichem... – Тут ведьма вдруг задумалась. – Вот только откуда взять эту траву? Мой запас кончился, а растет тирлич под Киевом, на Лысой горе.

Стук опять повторился, колотили в стену чем-то увесистым. Маргарита Семеновна продолжала:

– Все это свари и дай отвар...

Теперь уже колотили в дверь чем-то увесистым.

– Батюшки! Гантелей колотит! Господи, – взмолилась ведьма, – что мне с ним делать? Сосед мой! Опять напился!.. Сначала гантелей колотит – а потом в дверь трезвонит, пока не откроешь. А откроешь – орет и матюгается, да по морде норовит съездить. Гром его разрази!

Ведьма еще что-то говорила, ругалась, но Нюра стала собираться.

Она сказала мне:

– С каким-то пьянчужкой справиться не может... Тоже мне все могу...

Она взяла назад набор рюмок, потянулась за отрезом, но на ее пути стояла низверженная колдунья и плакала.

Нюра плюнула. Мы вышли.

Ездили еще к одной ведунье. Ничего замечательного о ней сообщить не могу. Обыкновенная старушоночка.

По стенам развешаны пучки трав, укроп, грибы, какие-то ветки. Множество мелких коробочек и мешочков. Образа, за ними тоже какие-то травы.

Нюра рассказала о своей дочери и про то, на кого они думают. Усадила нас хозяйка, сама налила в миску воды, стала капать воск с церковной свечи в воду, приговаривать.

– О-ох, девоньки-и! – произнесла старушка в конце. – Не отговоришь ее. Порча наложена не временная, а вечная. До смерти.

– Сглаз, да, матушка? – спрашивала Нюра, не желая слышать самого страшного.

– Какой сглаз... Опоили твою дочушку водой с покойника.

Нюра аж задохнулась. Колдунья продолжала:

– Обморочили девушку, обаяньем ее усыпили и дали водицы... И фотографию зарыли на кладбище. Вроде как могила у твоей дочки уже есть. Дам я тебе медальон, раба Божья Анна, в медальоне трава, – будешь носить на груди, и куда тебе сердце подскажет, туда и пойдешь. Обходи хоть все кладбища, а для дочери постарайся. Да вот еще: сильно веровали вы, нечистую силу ругали, она вам и помогать не хочет. Смотри, не служи двум господам!

О, ЭТОТ ЮГ! О, ЭТА НЕГА!

Лето вышло дождливое, меня привезли из Жердяев и положили в больницу с гайморитом. Делали проколы. Холодная, грязная Морозовская больница. Полчища тараканов. В разгар лета – осень за окном. Чтобы прогреть изгибы внутри моей головы под названием «гайморовы полости», родители решились наконец на путешествие.

Мы в Одессе. О, этот юг, о, эта нега! В шестистах километрах севернее пылил Чернобыль. На выходные приезжали киевляне, чтобы вымыть из себя радиацию морской водой.

Пансионат «Сиреневая роща» находился между пляжем и духовной семинарией мужского Свято-Успенского монастыря. За оградой дача патриарха Пимена, с фуникулером, спускавшим железную кабинку к морю, дальше туберкулезный диспансер. Вечерами чахоточники бродили парочками. Они были настроены на любовь, пели песенки под гитару, по утрам звон колоколов смешивался с громкими звуками любовной лирики из магнитофонов и транзисторов больных и здоровых купальщиков.

Я дивилась этой публике, такой оптимистичной и спортивной – упитанным хохотушкам в кепках, играющим в мяч, вместе с которыми при каждом прыжке подпрыгивали их шарообразные груди, и их ухажерам-культуристам. На юге все такие радостные – не то что у нас в Жердяях!..

Мы ходили в семинарию глазеть на красивые лица юных семинаристов, они были веселы и смотрели вокруг жадными, грешными глазами. На толстенных архимандритов, блестящих на солнце напузными крестами. Мама называла их «архимордитами». У черниц, приходивших из далекого женского монастыря к обедне, были простонародные лица, потные от жары.

Проходя вечером мимо окон семинарского общежития, мы непременно видели наполовину пролезшую в окно задастую блондинку в черной юбке с разрезами и ажурных колготках. Из окон слышались частушки и тягучий голос баяна, под который семинаристы должны были учить свои акафисты. Временами это веселье прерывалось странным образом: семинаристы обрывали свой гогот и пение и начинали монотонно бубнить молитву, и также внезапно ее обрывали. Опять слышались звуки баяна. Оказалось, что этот вынужденный перерыв совершался для проходившего мимо наставника.

Но недолго пришлось нам наслаждаться жизнью в Одессе. В городе трое умерло от холеры. Родители были в сильном страхе.

К тому же у меня начались неполадки с желудком, и матери пришло на ум, что у меня холера. Однажды мне даже приснилось, что холерные вибрионы кишат у меня в животе, как головастики в болоте за нашей жердяйской речкой Истрой. В утешение родители купили мне розовые штаны-бананы с карманами по швам. Я их надела и съехала с травянистой горы на задку: пожалуйста, зеленые пятна.

Город затих в страхе перед холерным вибрионом. Житель колыбы – треугольного сооружения на две койки, – дед в железных очках, хвастливо рассказывал моим родителям:

– В Гражданскую против холеры у нас было два средства: калоши и перцовка.

– Как калоши? – спросил отец.

– Заходишь в холерный барак, все заблевано, ну как же тут без калош? В городе холера. А вокруг – белые. Подходишь к бараку, а там толпа родственников. Плачут, а в холерный барак войти боятся. Какие же из них бойцы революции? А надо вдохновить! Делаешь рукой взмах – «Внимание!», берешь двух свидетелей иходишь в барак.

– В калошах? – не успокаивался отец.

– Натурально. Пожимаешь руки умирающим, поддерживаешь словом. После этого выходишь из барака, достаешь из кармана воблу и спокойно ее ешь. На виду у всех. Так сегодня побеждается страх перед холерой, а завтра эти родственники с винтовками побеждают врага!

– Погодите, но так же Наполеон ходил в барак к своим холерным солдатам? Как же, в Египетскую кампанию?.. – удивлялся отец.

– Не знаю, не знаю. – Дед заширкал тапками по дорожке.

– Жалко дедушку. Еще одно поражение, – сказала я. – Он-то надеялся, что проберет нас своими разговорами. И мы переедем жить в его двухместную колыбу, а он в наш номер с унитазом.

Вскоре мы бежали в Евпаторию на теплоходе «Киргизстан». Ночью нас трясло штормом. В Евпатории холерный вибрион сидел уже в бутылках с кефиром, а в довершение мы узнали, что в ту штормовую ночь следом за нами шел большой теплоход навстречу своей беде. Он столкнулся возле Новороссийска с грузовым судном, перетонули сотни людей.

Накануне отъезда из Евпатории мы получили бабушкино письмо. Дед читал репортаж о катастрофе и рыдал, впервые на ее глазах. Ведь мы ему телеграфировали день нашего отплытия!.. Число совпадало с днем отправки потерпевшего бедствие теплохода. Бабушка также писала о дедовой болезни. Сейчас ему хуже. Далее, по своему обыкновению, бабушка жаловалась: жертвует собой и плохо питается. Мама ходила и причитала:

– Гоняется за нами холерный вибрион... Чернобыль нас травит. Маша, угадай, какое место нас любит?

– Жердяи, – улыбалась я.

– Туда и вернемся.

ПОЖАР

Между тем возвращаться было некуда.

Дом в Жердях сгорел.

По рассказам, всю ночь стоял шестиметровый столб огня. Еще бы! Три террасы, павильон, сарай. Дважды пытались вызвать пожарных. Не ехали служивые – по таким-то дорогам!..

Мы с мамой плакали, обнявшись. Давно ли, давно ли мы выходили на крыльцо чистить зубы и белеющая в ночи пена зубной пасты падала на устроенную возле крыльца душистую клумбу флоксов?.. К неудовольствию бабушки. Над березами, к которым дед привязал гамак, ярко горела голубая звезда, в темени августовской ночи ходили золотые урчащие луны комбайновых фар... Мы были счастливы.

Первой из жердьянских сообщила о пожаре молочница Евдокия Степановна. Звонить она поехала в город. Рассказать непременно все разом! Огненный столб в шесть метров, ей брови спалило! Всю ночь простояли на дороге. С фермы по радио вызывали совхозную контору. Пожарные не поехали, паразиты, – а ведь молоковоз бегают каждый день.

Черепенина грелась на своей лавке, думала, немцы палят деревню. Своего сына признавала за зенитчика. Он поливал сарай, прилегающий к нашему участку, – там крыша рубероидная.

Как ни сбивала моя бабушка звонившую ей Евдокию: умирающий дед лежал тут же в комнате, – он почуял беду. Бабушка расплакалась, называла Евдокию по имени, в умопомрачении спрашивала невпопад. После разговора с Евдокией бабушка укрылась в ванной, там рыдала под шум воды.

Понимала, что выдала себя, и по возвращении к деду рассказала об ограблении чердака. Брали с разбором, – украли ее шляпы, – а старые пальто оставили. Отдельно висящие в мешках воротники, правда, выгребли из кофра.

Дед вроде успокоился. Знал: бабушка всю жизнь видела в вещах заступников и дружков, единственно неспособных оставить в трудный час. О своих серьгах, сумках и отрезках – сколько заплатила, когда и где – она все помнила. А если перекладывала вещи – свежела лицом.

– Нехитрое дело забраться на наш чердак, – говорил дед. – Возьми лестницу за сараем и приставь к веранде. Там по крыше к будке. И зачем мы эту будку на крыше выстроили?.. Двери у нее изнутри на проволочном крючке. Поддеть хоть стамеской, и крючок разогнешь. А там на чердак. Эта наша будка – кукиш здравому смыслу. Лестницу надо было ставить внутри. Ладно, проживем без воротников... Какие наши годы, Ксенок. Главное, дом цел. Дом – большое дело. Раньше плотник не мог купить станка... доску протесать – время, отфуговать вовсе запаришься. Тес брали не обрезной. Дома ставили по три года. Дом в деревне – это вещь, Ксенок.

По бабушкиному недомыслию в пересказе ее телефонного разговора с Евдокией явился некто Степка. Прежде неизвестный человек в Жердях и зятек Крёстной. Вот что сказала о нем бабушка.

Видом цыган. Всех зимовщиков в Жердях дед знал. В разорении чердака старуху Черепенину не заподозришь, ее пакостливости доставало лишь на опорожнение помойного ведра под нашим забором. Пастух Серый – пьянь – может украсть с фермы мешок комбикорма на опохмелку, но к соседу на чердак не полезет: дед столько раз вырубал его бутылками.

Приблудный вороватый Степка с его намерением проболтаться в Жердях до весны и смыться постоянно занимал мысли деда.

Ведь Степка мог в другой раз, через ту же будку и по внутренней лестнице, пробраться на заднюю веранду, там при умении открыть взрезной замок – очутиться в доме. Окна затянуты

снаружи рубероидом, стало быть, в доме тьма. Степка захочет вкрутить пробки и не найдет, дед припрятал. Тогда Степка начнет скручивать из газеты жгуты и поджигать – дело кончится пожаром.

Мы не могли унять деда в его домыслах, бабушка вовсе помалкивала в страхе разоблачения. Евдокия упомянула Степку по случаю, он заодно с Серым выламывал окна веранды – спасал от огня бабушкино трюмо и одежду. И Степка попал бабушке на язык. Дед от болей не спал ночами, и вот припомнил, как в начале октября накануне отъезда из Жердяев повстречал на дороге Серого с человеком цыганистого обличья, оба пьяненьких, – перебирали у Евдокии печку.

К тому времени отцу позвонил Тира, сын Капы и Юрия Дмитриевича, он ездил за картошкой в Жердяи и посмотрелся из родительских окон на нашу закоптелую печь с трубой. Отец спросил о Степке, вправду ли такой есть? Оказалось, есть. Сам из Малых Жердяев, сидел два раза за драки, вот подженился на Крёстниной дочери, в городской квартире у нее тесно, – взрослые дети, – они против. Потому зимует у Крёстной, «тещеньки».

Из желания облагородить образ Степки и успокоить деда мой отец насочинял про жердяйского новосела. Будто бы тот давно и безответно любил Галю, провожал из школы, их свидания проходили в лесу между Большими и Малыми Жердяями. Дескать, известие о Галином замужестве сокрушило Степку, – он стал запивать, драться и сел раз и другой.

Отец своими рассказами еще больше навредил, теперь Степка виделся деду еще более опасным, наглел день ото дня. Единственный в зимних Жердяях мужик Юрий Дмитриевич был немолод, – воевал. К тому же уходил на сутки дежурить в Стрелино на ферму.

Мама плакала, невольная в себе, ведь дед худел и слабел на глазах. Обличала моего отца в намерении поиздеваться над дедушкой:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.